Новая Польша 12/2014

0: ПОРТРЕТ ЧАПСКОГО

Он поражал непосредственностью, проявлявшейся во всем, в том, как он жил, писал, рисовал, говорил, но в то же время он совмещал в себе множество персонажей и каждым из них был в полной мере. Художник, писатель, литературный и художественный критик, активист, публицист, солдат, «фандрайзер» парижской «Культуры», друг — он был, прежде всего, живым человеком. По-настоящему добрым, светлым, немедленно откликающимся на неправду, на шутку, на моменты восторга и моменты ужаса.

Он нырял с головой в разговор, в дискуссию, жил минутой и в то же время застывал в потоке времени. Память была одним из двигателей его деятельности, средством самоопределения в мире. Пустив корни в повседневности, умом и сердцем он пребывал в жизни духовной. Ему было необходимо иное измерение, он верил в то, что оно существует. Никто из тех, кому довелось столкнуться лично с Юзефом Чапским или с тем, что он создал, не усомнился бы в том, что эта потребность, эта ипостась в нем была. Он был живым свидетельством существования «иного мира». А ведь о вероисповедании или официальной стороне своей веры он говорил мало — он, который так ценил беседу, разговор по существу.

Также и внутренне он был скорее художником, чем философом: набрасывал эскизы интересующих его миров, не строя ни идеологии, ни системы. Себя самого и людей открывал не дедуктивным путем, не поддавался на шантаж умозрительности, и в этом была его сила; но при этом увлекался живой, критической, аналитической мыслью, и в этом тоже была его сила. Он стремился ловить мгновения реальности, был художником, боролся за новые горизонты для живописи и художников, в которых также видел путь постижения мира. «Во Франции никогда не было популярного в Польше стереотипа, что художник имеет право быть глупым» - написал он однажды с вызывающей иронией. Он не был глупым и работал над тем, чтобы не быть глупым. Он поражал конкретной и человеческой мудростью, которая не описывается жестокой и точной формулой Гомбровича «чем умнее, тем глупее», это не была мудрость умозрительная или институциональная, мудрость священников или философов. Это была мудрость его собственная, Юзефа Чапского, которую он сам добывал и развивал.

Говоря накрахмаленными словами чуждого ему ученого языка, можно было бы сказать, что он был сторонником идеографии, определения, описания и объяснения отдельных фактов, а не номологии, науки, занимающейся законами жизнедеятельности духа и тела. Он стремился дойти до сути переживания, зафиксировать смысл пережитого потрясения. Искал объяснения фактов. И тогда, когда старался найти нужное выражение для впечатления, которое произвела на него мгновенная игра света и красных бликов на чьем-то лице в кафе. И тогда, когда разыскивал нескольких пропавших без вести товарищей по оружию. И тогда, когда занимался поиском многих тысяч товарищей по неволе. И тогда, когда вступал в разговор с первым встречным, чтобы понять, что тот думает и чувствует. И тогда, когда открывал серую тетрадь и записывал ход мысли, набрасывая эскиз себя самого.

Говоря языком ему чуть более близким, но все еще далеким от его непосредственности, можно было бы сказать: он искал эпифании, охотился за мгновениями, в которых реальность открывается глазу, сердцу, телу, разуму — достаточно сосредоточенному, чтобы эти знаки распознать. Однако Чапский не верил в Богоявление на пустом месте. Наше постижение действительности происходит здесь и сейчас, на этой земле, сегодня, благодаря вчерашнему труду и с видом на завтра. Поэтому я сомневаюсь в родстве Чапского с Джойсом (хотя кто знает, его выбор «родственных» связей был так широк, что включал даже Беккета, еще более радикального в стремлении к катарсису). Он мог одновременно восхищаться Толстым — в поздние годы скорее Толстым-художником, чем моралистом, хотя и моралистом тоже — и Достоевским; Алешей, который верил и искал святости, и Иваном, который сгорал в бунтарском огне; Кирилловым и Шатовым; на Петра Верховенского он смотрел с ужасом, и только Ставрогин был для него бесконечно далек.

Увлекался ли Чапский Гоголем? Если да, то он вышел скорее из «Шинели», чем из «Носа» (откуда, по мнению ехидных критиков, вышел Набоков). Владимир Набоков был ему чужд, в этой семье он дружил с Сергеем и Николаем, но и в этом случае не был категоричен: несколько стихотворений Владимира, несколько его описаний, а особенно его любовь к русской культуре, к Пушкину, к слову и поэзии были Чапскому близки, хотя для бесед в тени деревьев на Елисейских полях (небесных, не парижских) Чапский и Набоков выбрали себе разных собеседников. Они уже ведут эти беседы, и оба вели их еще здесь, они были важны для обоих, были их средством существования во времени, в культуре. И все-таки друг с другом, я думаю, они разговаривают мало.

Разнообразие духовных связей Чапского отражает его богатство, или, скорее, обогащает его. Эти связи были для него необходимы, животворны. Он бунтовал, хотел самостоятельно строить свой внутренний мир, но не собирался начинать с нуля. Он не считал, что создает новую литературу, новую живопись. В этом также проявлялась его сила. Радикализму современного критического сознания он сочувствовал только до определенной степени. Живопись, как и роман, как и поэзия, не представлялись ему завершенными. Искусство минувших эпох было для него живо. Его интересовали крайне скептические взгляды Поля Валери, нигилизм Чорана, в свое время он пережил увлечение Ницше, кризис выразительности, представленный в «Письме лорда Чандоса» Гофмансталя, воспринял как персональное послание, как письмо к себе и о себе, но пришел он в итоге не к тотальной критике и молчанию. Современные яды не причиняли ему вреда. Почему? Из-за его страсти к прошлому, к жизни.

Чапский был фигурой исторической, что только усложняет ситуацию, потому что в то же время он был кем-то другим. Кем? Юзефом Чапским, Юзей не только для семьи и друзей, которых были сотни, но и для тех, кого коснулся луч его присутствия.

Кем он будет (есть)? Властью взгляда. Способностью называть людей, вещи, проблемы, открывать их формы, их взаимосвязи. У него был этот дар: словами и красками создавать портрет человека, пейзажа, мертвых и неподвижных предметов — и предметов движущихся, живых, групп людей во времени и пространстве.

Сквозь произведения Чапского, его картины, рисунки, эссе, книги я вижу — их, его, самого себя и других. Они восхищают меня не только тем, что вот передо мной точный образ или рисунок, живой рассказ о людях, вещах и проблемах; они учат смотреть и говорить, в том числе и тех, кто сам не собирается ни рисовать, ни писать. Они оживляют перед нами мир, оживляют нас, оживляют Чапского. Это не просто красивая фраза. Я знаю, о чем говорю. Я не пишу картин и не рисую, но полотна Чапского научили меня не только узнавать их среди картин других художников, но и узнавать потенциальные картины Чапского на станциях метро, в природе, в театре, в кафе. Его книги буквально учили меня говорить и думать о живописи. Созданные им словесные портреты людей и душевных состояний учили меня, хотя и не научили, улавливать образы людей и явлений.

Чем были и где теперь — вид зайца много лет назад, жест руки, которая тогда показала на него — спрашивал (когда-то) Милош в своем незабвенном стихотворении. Где боль, где радость, озарение, когда они возникают — мгновенные и застывшие во времени? Но если пойти дальше — что такое и где этот дар возбуждения таких состояний? Художники — индивидуумы, индивидуалисты, но они учат нас смотреть и говорить. Чей-то взгляд загорается при виде картины, хорошей или не очень, написанной столетия назад. Чей-то голос, жажда голоса пробуждается от звуков чьего-то живого голоса.

Я знаю, что, размышляя о Юзефе Чапском, о его поразительно интенсивном существовании, я задаю вопрос высшей канцелярии, доискиваюсь законов и объяснений, хотя так от этого открещиваюсь. Одно из особенно близких ему стихотворений — а поэзия была ему необходима, хотя сам он не писал стихов, но с ее помощью открывал мир, мир поэтов и свой собственный — стихотворение о том, что наша жизнь переплетается с другими жизнями, заканчивается словами, написанными как будто специально для него: «А мой удел — нечто большее, чем этой жизни утлый пламень или узкая лира»